



**Л. П. ГРОССМАН**

## **Достоевский и правительственные круги 1870-х гг.**

### **I**

Достоевский дважды приобщался к ходу современной политики: в начале и в конце своего литературного пути. Если в 40-е годы он принимает заметное участие в кружках русских фурьеристов и даже оказывается замешанным в революционную пропаганду петрашевцев, его ранняя оппозиционность не успевает проявиться в действии и сравнительно быстро обрывается апрельским арестом 1849 года. Но в последнюю эпоху своей биографии Достоевский входит в среду государственных деятелей царской России и в согласии с общим направлением петербургских правительственных кругов ведет свою публицистику и заостряет идеологически свои художественные произведения. В беседах с представителями династии, в общении с министрами, в очередных выпусках «Дневника писателя», наконец в своих общественных романах Достоевский становится своеобразной и крупной политической силой: активным деятелем момента он вырабатывает общие философские идеи, во имя которых возможно проведение той или иной практической меры. Под деловые задачи текущей государственности он подводит широкие исторические принципы и обобщающие политические гипотезы о всеславянском единении, о призвании русских в Азии и на Босфоре, о святости войны, о цивилизаторской миссии России на Ближнем Востоке. Он как бы вменяет себе в задание привести отвлеченную мысль на службу царизму и укрепить его верховное влияние своим авторитетным словом знаменитого писателя. Это та особая «политика идей», которая часто как бы парит над фактами и делами, не вникая в детали и не занимаясь проблемами осуществлений,

но обобщая патриотические предания и маскируя исторической философией программу и практику правящих кругов.

Свойственная биографии Достоевского контрастность эпох и моментов с особенной силой сказалась под конец его жизненного пути. Участник социалистического кружка 40-х годов, где обсуждались вопросы о цареубийстве, об истреблении всей царской фамилии и всего высшего правительства, Достоевский в 70-е годы входит в придворные круги и находится в близких отношениях с виднейшими представителями царствующего дома. Мало известный эпизод его духовного руководства младшими великими князьями, его знакомство с братом царя генерал-адмиралом Константином Николаевичем, его дружба с молодым Константином Романовым и наконец непосредственное общение с наследником престола и «государыней-цесаревной» завершают целую полосу его идейных и личных сближений с такими деятелями эпохи Александра II, как К. П. Победоносцев, Третий Филиппов и М. Н. Катков. В третьем поколении царизм, приговоривший в 1849 году Достоевского к расстрелу и каторге, не только снимает с него всякие подозрения в оппозиционном образе мыслей, но возводит его в степень выразителя своих основоположных воззрений и предначертаний. Внуки Николая I относятся к Достоевскому с почтительнейшим вниманием, стремясь сбереечь для своего политического дела такого крупного и влиятельного союзника, как известнейший из писателей старшей плеяды русских романистов.

Недаром на другое утро после смерти Достоевского, 29 января 1881 года, наследник пишет К. П. Победоносцеву: «...очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского, это большая потеря и положительно никто его не заменит». Имеется в виду, конечно, не литература, которою «цесаревич» интересовался весьма мало, а высшая государственная политика, к которой вплотную приблизился в своей публицистике только что скончавшийся писатель. И если бы Достоевский не умер за месяц до вступления на престол Александра III, мы, вероятно, увидели бы его в 80-е годы открытым соратником наступающего самодержавия, тревожно ищущего после потрясения 1 марта новых прочных основ для укрепления своей зашатавшейся мощи.

Близость к верховной власти широко раскрывает перед Достоевским и замкнутые круги столичной аристократии. Никогда не принадлежавший ни по своему происхождению, ни по профессии, ни по сложившемуся быту к высшему дворянству, Достоевский под конец жизни преимущественно возвращается в этом

кругу, стремясь стать выразителем, его социально-политических воззрений. В качестве редактора «Гражданина» он сближается с рядом крупных правительственных деятелей, сотрудничающих в органе Мещерского и участвующих в политических салонах столицы. Отдел «Гражданина» — «Еженедельная хроника», являясь преимущественно обзором великосветской и правительственной жизни в духе известных обзоров французской газеты «Фигаро», в свою очередь приближал Достоевского к высокопоставленному Петербургу. Здесь постоянно назывались имена представителей этого мира, среди которых мы встречаем ряд фамилий будущих титулованных корреспонденток Достоевского.

Если в начале 70-х годов Достоевский сближается с государственными публицистами, конец десятилетия ознаменован его непосредственным общением с высшими представителями власти и знати. Верный своим сложившимся политическим убеждениям и принятой им в последнюю эпоху общественной программе, Достоевский сближается в свои последние годы с обширными слоями петербургского света, сословные и государственные интересы которого он считает себя призванным защищать. Этим как бы завершается издавна намечавшаяся тенденция: еще в 1860 году он составлял своему приятелю барону Врангелю для собрания дворян Петербургской губернии блестящую речь о вольностях и правах дворянства. В 1869 году в письме к Страхову он выражает свое восхищение новой драмой, в которой показана «сановитость боярская безо всякой карикатуры» и развернута картина русского «джентльменства» и московского «grand monde» XVII века «в высшей и правдивейшей степени». И в полном согласии с этими воззрениями он в планах «Бесов» намечает образ одного из главных положительных героев как «новую форму боярина».

Такова одна из господствующих, социальных симпатий Достоевского после 40-х годов.

Характерно, что сообщая родным о своем предстоящем браке, он, вопреки фактам, заявляет, что будущий тесть его «внук французского эмигранта в первую революцию, дворянина, приехавшего в Россию», и что сыновья этого потомка легитимистов служат в гвардии. Когда под конец жизни один из его собеседников заявил ему, что Мещерский смешон со своими дворянскими затеями, Достоевский перебил его: «Разве вы не находите необходимым собрать в какую-нибудь организацию лучших людей?» И сам он в это время уже состоит видным членом союза, объединившего славянофильских представителей правительствен-

ного и военного мира с правыми кругами журналистики и науки. Это — Славянское благотворительное общество, возникшее из старинного Московского комитета, который стремился противопоставить силы русской государственности и церковности западным организациям латино-иезуитской пропаганды между славянами. К концу 70-х годов Достоевский — вице-президент Общества; он составляет адрес царю к его 25-летию, он делегируется в Москву на открытие памятника Пушкину. Он признан выразителем мысли всего объединения.

И как многие случайные и спорные представители господствующего класса, Достоевский чрезвычайно дорожил своей принадлежностью к нему; у нас нет никаких оснований не доверять свидетельству его дочери: «Отец мой высоко ставил свое дворянское звание, и перед смертью просил мою мать внести нас, детей, в ту же книгу, что ею и было исполнено» (речь идет о книге московского дворянства, в которую был записан Достоевский).

Так отчетливо определял сам писатель свою классовую природу, словно отводя от себя будущую тенденцию исследователей относить его к «мелкому мещанству». И действительно, сын мелкопоместного дворянина, владевшего имением в Тульской губернии, Достоевский и сам оставался всю свою жизнь бедным дворянином, тоскующим в капиталистическом городе по усадебному быту, страстно мечтающим о большом поместье, чтоб выйти из материального и сословного упадка и слиться наконец с крупным дворянством. К концу жизни цель эта была им в значительной степени достигнута. Он умирает среди забот о приобретении имения, накануне получения по наследству земельного владения, войдя в придворные круги и лично общаясь с представителями царствующего дома.

Но все это уже не в состоянии изменить его прочно установившейся сословной психологии и социального характера. Несмотря на столь успешное материальное и общественное восхождение, Достоевский по своему внутреннему облику остается до конца «бедным рыцарем», убогим потомком литовских маршалов, мелким российским дворянином.

Под конец жизни выраженное сословное самосознание писателя заметно сказывается на его личных связях. Сравнительно мало общаясь с литературным Петербургом конца 70-х годов, Достоевский преимущественно возвращается в эту эпоху в кругах петербургской знати, весьма сочувственно принимающей знаменитого романиста в свою неприступную среду. Великосветские верхи столицы, круг придворной или служилой олигархии —

вот человеческое окружение его старости. В конце 70-х годов Достоевский постоянно общается с гр. С. А. Толстой (вдовой поэта Алексея Константиновича), с Е. А. Нарышкиной, гр. А. Е. Комаровской, женой начальника Главного управления по делам печати Ю. Ф. Абаза, с княгиней Волконской, женою видного дипломата С. П. Хитрово, с бывшим попечителем Виленского учебного округа И. П. Корниловым, со славянофильствующим генералом Черняевым, будущим министром финансов И. А. Вышнеградским, дочерью дворцового архитектора Е. А. Штакеншнейдер, с председательницей Георгиевской общины графиней Е. А. Гейден, председательницей Общества ночлежных приютов Ю. Д. Засецкой и пр. Некоторые либеральные знакомства допускаются лишь в том же кругу, как, например, с А. П. Философовой или А. Ф. Кони.

Так создавался в последние годы его жизни особый «Петербург Достоевского», уже ничем не напоминающий нищие кварталы, отображенные в его ранних повестях и первом большом романе. Произошла резкая перестановка декораций и в плане его политической жизни. Скромная обстановка его молодых выступлений в бедных кварталах столицы сменилась теперь парадным фоном царской резиденции. Покосившийся деревянный домик в старой Коломне с чадающим ночником и разодранным диваном, где учился социализму и проповедывал молодой Достоевский, уступил место залам Мраморного дворца и приемным палатам Аничкова и Зимнего. Последняя глава биографии Достоевского приобретает от этого столь несвойственный всей его бродячей, каторжной и трудовой жизни пышный и торжественный колорит, что сам писатель скрывал от своей исконной литературной среды этот неожиданный поворот судьбы, приведший его от каторжных и солдатских казарм, игорных домов и редакций в гостиные Растрелли и Ринальди, где певцу униженных и оскорбленных благосклонно внимали теперь высшие представители династического и сановного мира империи.

## II

Этот социальный фон последнего периода биографии Достоевского не остается безразличным для его литературной деятельности. В 70-е годы он открыто выступает с поднятым забралом бойца за сильную государственную власть. Наступает период его заметного участия в политической жизни страны. Редактирование «Гражданина», систематическое ведение единоличного из-

дания, дающего отклик на все волнующие вопросы внутренней и зарубежной жизни, личное общение с виднейшими руководителями правительственного курса, наконец художественная пропаганда руководящих государственных идей в своих романах, — все это ставит его в исключительно благоприятные условия для воздействия на общественное умонастроение. В монархической России, где государственная деятельность была доступна лишь тесному кругу царской семьи и ее личных друзей, автору «Дневника писателя» удалось создать себе настоящую политическую трибуну.

С подлинным чутьем общественного деятеля Достоевский в своих выступлениях ищет единомышленников и влечется к союзникам. Пятницы Петрашевского и редакции полуправительственных изданий 70-х годов — вот идейные очаги двух эпох его политической биографии. Но если на заре его литературной деятельности идейным соратником, а отчасти и политическим руководителем для него явился «первый русский коммунист» Спешнев, на закате аналогичную миссию выполнял знаменитый законовед и придворный педагог Константин Петрович Победоносцев.

В качестве государственного деятеля, еще далеко не достигшего в то время высших постов, будущий прокурор Синода весьма считался с публицистом и редактором «Гражданина» Достоевским. В эпоху возникновения их дружбы знаменитый впоследствии руководитель верховной политики, состоявший до 1872 года в звании сенатора, только что был назначен членом Государственного совета. Как преподаватель законовещения великим князьям он уже пользовался признанием при дворе, хотя Александр II и не любил его «за ханжество». Как известно, подлинного влияния и власти Победоносцев достиг только в следующее царствование, но к этой цели он стремился издавна, скрыто и упорно.

Союз с крупным писателем, примкнувшим к правительственному курсу, мог во многом привлечь тончайшего политического комбинатора, втайне претендовавшего на министерские посты. Уже летом 1873 года Победоносцев активно помогает Достоевскому составлять выпуски «Гражданина», «работает с ним вместе», стремится облегчить ему трудность редакторского дела. Это сотрудничество представляет тем больший интерес, что на почве редакционно-журнальных взаимоотношений возникает близость, переходящая вскоре в настоящую дружбу на основе идейного единомыслия и в целях совместного политического влияния.

Основная идея Победоносцева о создании сильной монархической России путем восстановления допетровской церковности в русской жизни была родственна славянофильским или «почвенническим» взглядам Достоевского. На этой основе они легко заключили союз: «Культуры нет у нас, дорогой Константин Петрович, а нет через нигилиста Петра великого», пишет Победоносцеву Достоевский в 1879 году, выражая одно из своих давнишних воззрений, мелькающее в его записных книжках середины 60-х годов. Из их переписки видно, что Победоносцев чрезвычайно зорко следил за публицистической деятельностью Достоевского, сообщал ему материалы для «Дневника писателя» (например, о самоубийстве дочери Герцена), давал обстоятельную оценку почти каждому выпуску его издания, был негласным консультантом писателя по важнейшим вопросам текущей государственной политики, о чем Достоевский с признательностью писал ему: «С будущего же года, уже решил теперь непременно, возобновлю „Дневник писателя“. Тогда опять прибегну к Вам (как прибежал и в оны дни) за указаниями, в коих, верю горячо, мне не откажете» (19 мая 1880 г.). И Победоносцев, нисколько не отказывая в напутствиях и советах, всячески содействовал успеху «Дневника» Достоевского. Есть основание предполагать, что большое количество представителей духовенства среди подписчиков «Дневника писателя», в том числе и высоких иерархов, как наместник Киево-Печерской лавры или епископ Астраханский и Енотаевский, объясняется рекомендацией, издания Достоевского святейшим Синодом.

Таким же советником писателя Победоносцев выступал и по вопросам творческого порядка. «Своего „Зосиму» он задумал по моим указаниям, — сообщал обер-прокурор Ив. Аксакову. — Много было между нами душевных речей». В письме от 10 марта 1904 года Победоносцев, выражая свою благодарность А. Г. Достоевской за присылку «Братьев Карамазовых» в новом издании, пишет: «Помню, когда Федор Михайлович писал эту книгу, в ту пору ходил он ко мне по субботам вечером и с волнением рассказывал новые сцены романа». Еще подробнее об этом Победоносцев пишет А. Г. Достоевской 24 ноября 1906 года, т. е. за несколько месяцев до смерти. «Немного уже осталось старых друзей его — и я еще доживаю, и думаю, что счастливы многие, не дожившие до нашего времени. Мое знакомство с ним не с ранних годов. — Оно началось с вечеров у Мещерского, а потом сошлись мы ближе, и я помогал ему работать, когда свалился ему на шею Гражданин. А в последние годы часто приходил он ко мне

по субботам вечером на беседу — и как теперь помню, как бывало, одушевляясь и бегая по комнате, рассказывал он главы Карамазовых, которых писал тогда».

Сохранившиеся письма свидетельствуют о том, что Победоносцев не переставал направлять Достоевского даже в процессе его работы над «Братьями Карамазовыми». И знаменитый романист принимает это руководство, просит отзывов, разъясняет свои позиции, ищет поддержки, делится своими планами и замыслами. Он не скрывает, что приезжает к Победоносцеву «дух лечить», ловить «слова напутствия» и настойчиво отмечает их полную идейную солидарность: «Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, — пишет он в письме от 19 мая 1880 года, — а поэтому и жду может быть некоего поношения». «Ну, что будет с Россией, если мы, последние могики-не, умрем?» — спрашивает он в другом письме. Он не перестает выражать свое восхищение перед личностью, мыслью и деятельностью Победоносцева, открыто называя себя его приверженцем и почитателем.

В плане этого дружеского единомыслия и политического руководства Победоносцев снабжает Достоевского соответствующими статьями и даже материалами для романов. Иногда он оспаривает те или иные положения «Дневника писателя», по-видимому противопоставляя прямолинейности и односторонней тенденциозности публициста свои более гибкие оценки практического политика и искусного дипломата, воспринимающего явление во всей его многогранности и усматривающего в отдельном факте все его разнообразные возможности и последствия. Иногда государственный деятель выступает и в роли художественного критика. Нужно помнить, что своим ближайшим окружением Победоносцев был признан крупным писателем, выдающимся стилистом и знатоком литературы. Лично знавший Победоносцева французский дипломат и литератор Мельхиор де Вогюэ называет его «русским де Местром» и «уверяет, что этот „Торквемада» отличался широкой начитанностью в поэзии: он, оказывается, особенно любил „весьма далеких от православья» английских поэтов Шелли, Суинберна и Броунинга» (de Vogüé E. M. «Les routes». P., 1910, 136). Впоследствии современные правительственные критики посвящали даже целые исследования «литературной деятельности К. П. Победоносцева» (П., 1896). Неудивительно, что сам он считал себя призванным быть советчиком и судьей Достоевского. Не лишено интереса,

что знаменитые страницы, где Иван Карамазов разворачивает перед Алешей картину детского мученичества, встретили со стороны Победоносцева чисто художественные возражения. Некоторое нагнетание ужасов и напряжение драматических эффектов в монологе Ивана Карамазова вызывает с точки зрения законов художественного самоограничения критическое замечание Победоносцева. В другом месте он правильно отметил безукоризненную художественность «Преступления и наказания», где самые кровавые и жестокие сцены подчинены строгой организованности. Невольно вспоминается тонкий стилист Тихон, отмечаящий в «Исповеди Ставрогина» недостаточную эстетичность преступления и погрешности в самом слоге рассказа. В беседах Победоносцева с Достоевским было нечто, напоминающее философские диалоги, диспуты или исповеди его последних романов.

### III

Вскоре после их знакомства Победоносцев начинает направлять Достоевского и по трудному пути придворной карьеры. Еще не занимая высших государственных должностей, он уже умело действует за кулисами верховной политики и пользуется несомненным влиянием при дворе наследника. Вскоре это начинает сказываться и на биографии автора «Бесов».

Нужно думать, что Победоносцев, дававший царям ряд советов в области их культурных интересов и отношений, подал мысль Александру II пригласить Достоевского для бесед со своими младшими сыновьями. С начала 1878 года начались собеседования писателя с вел. князьями Сергеем и Павлом, продолжавшиеся и в последующие годы. Достоевский уже после первой встречи нашел, что «они обладают добрым сердцем и недюжинным умом» (что, впрочем, не нашло подтверждения в будущей деятельности «героя Ходынки»). Вскоре после этого Достоевский, по приглашению брата царя генерал-адмирала Константина Николаевича, выступает в той же роли перед его сыновьями Константином (будущим «К. Р.») и Дмитрием.

Воспитательное значение этих встреч всячески подчеркивалось свыше. Знаменитый писатель призывался раскрывать великим князьям их роль в современной истории, морально наставлять и политически направлять их.

По-особому слагались отношения с наследником Александром Александровичем, которому Достоевский подносит «Бесы», «Дневник писателя», «Братья Карамазовы». Первые подноше-

ния сопровождаются разъяснительными письмами, последний роман подносится лично. Выражение преданности наследнику достигает апогея в 1876 году, когда Достоевский, спрашивая разрешения на поднесение великому князю «Дневника писателя», пишет ему: «Я давно думал и мечтал про себя о великом счастье представить скромный труд мой В. И. В., которого я столь люблю и за которого часто и много молюсь и малейшее внимание Ваше, если б я имел счастье возбудить его, ценю как величайшую честь себе и как величайшую радость мою... Ваш благодарный, Ваш верный и Вас беспредельно любящий слуга Ваш Ф. Д.» (Цитируем по черновику.)

Личное знакомство не заставило себя ждать. На одном из закрытых вечеров, где Достоевский читал «Братьев Карамазовых», присутствовала вел. кн. Мария Федоровна, на которую это чтение произвело сильное впечатление.

Анна Григорьевна сообщает, что в доме графини Менгден 22 декабря 1880 года Достоевский «был приглашен во внутренние комнаты, по желанию императрицы Марии Федоровны, которая благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала».

Сохранились свидетельства, что в декабре 1880 года «их высочества» оказали писателю «милостивый прием»: характерно, что «Достоевский, бывший в эту эпоху глубоким монархистом, не пожелал следовать придворному этикету и держал себя во дворце так же, как он имел обыкновение вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, встал, когда нашел, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с царевной и ее супругом, оставил дворцовый зал, как гостиную своих друзей»... Александр III якобы не был этим шокирован и впоследствии отзывался о Достоевском с достаточным уважением.

После этого представления Достоевскому оставалось переступить еще одну только последнюю ступень, чтоб восхождение его по лестнице придворных сближений было завершено: ему оставалось еще знакомство с самим царем. Но через месяц после приема у наследника, не стало Достоевского, через два месяца — Александра II. Автор «Дневника писателя» ушел в самую горячую минуту; среди террористических актов, беспомощных попыток к реформам и великой растерянности верховной власти, словно предчувствующей неизбежность подступавшего 1 марта.

Вообще близость Достоевского к правительственным кругам заметно сказалась в момент его смерти. С утра 29 января, т. е. уже через 12–15 часов после смерти Достоевского, правитель-

ством принимается ряд мер, имеющих целью отметить его участие в событии. Наследник сообщает К. П. Победоносцеву на его запрос: «Гр. Лорис-Меликов уже докладывал сегодня утром Государю об этом и просил разрешения материально помочь семейству Достоевского». Утром 29 января от министра внутренних дел передают вдове писателя сумму на похороны и объявляют ей, что дети Достоевского будут воспитываться на казенный счет. На следующий день министр финансов извещает А. Г. Достоевскую, что ей назначена государем вдовья пенсия в две тысячи рублей. «Русский царь, — умиленно отмечало „Новое время“, — становится во главе того почета, который оказывается памяти русского писателя». На панихидах присутствовали гофмейстер Н. С. Абаза, адъютант граф Н. Ф. Гейден, в. кн. Дмитрий Константинович. Принцесса Ольденбургская прислала на гроб Достоевского венок, великая княгиня Александра Иосифовна — сочувственное письмо вдове.

Из-за границы приходят соболезнующие телеграммы от Сергея, Павла и Константина. Министр народного просвещения вместе с обер-прокурором Синода идут за гробом писателя.

Таким образом, момент смерти Достоевского как бы вызывает демонстрацию благоволения к нему царствующей династии, признавшей нужным откликнуться на кончину писателя в лице самого царя, его министров, его детей и племянников.

Опекунство над малолетними Достоевскими принимает на себя «наставник царей» — сам К. П. Победоносцев.

Правительственная печать отразила полностью эти отношения «сфер» к событию. Правые органы уделили, исключительное внимание смерти Достоевского, превратив некрологи и поминальные статьи в сплошной дифирамб ушедшему «патриоту». Правдивые ноты глубокого признания великого художника вместе с критическим отношением к его политическому исповеданию раздались лишь в немногих оценках умершего. Приведем одну из них, как голос ясного суждения среди обычного хора уловных и внешних похвал.

«Страстная ненависть к лучшим идеям нашего времени, которая так часто проявлялась в произведениях Достоевского, не вызывает в нас обидного чувства. Достоевский по своей глубокой натуре и не мог иначе чувствовать. Чему он верил, он верил со страстью, он весь отдавался своим мыслям; чего он не признавал, то он часто ненавидел. Он был последователен и, раз вышедши на известный путь, мог воротиться с него только после тяжелой, упорной борьбы и нравственной ломки...»

Но такого внутреннего кризиса Достоевский в 70-е годы не переживал. Открыто выйдя в начале десятилетия на путь борьбы с «европействующими» течениями русской мысли, он уже до конца не слагал оружия, не сдавал позиций и не знал возврата к политическим идеям и социальным верованиям своей «фурьеристской» молодости.

#### IV

Таково в основном было человеческое окружение стареющего Достоевского.

Мир «властителей и судей», к которым он обращал в молодости гневные инвективы державинского псалма, стал его миром. Он вошел в этот круг и превратился в одну из сильнейших его опор.

Нужно признать, что российский монархизм на закате царствования Александра II сделал величайшее идеологическое приобретение, завоевав для своего дела перо Достоевского. Он это сделал с максимальной искусностью, не превратив Достоевского в редактора правительственного официоза и сохранив за ним видимость литературной независимости, обеспечивающей столь нужную верхам популярность писателя в широких кругах молодого поколения. В отличие от правительственных публицистов типа Каткова и Мещерского, Достоевский сохранял до конца более свободную позицию правого славянофила, философски идеализирующего царизм и православие. Его реакционная публицистика 70-х годов в целом не перешла еще границ самостоятельного изложения его государственной философии и, к счастью для его памяти, не превратилась в официальное оружие российской императорской системы. В этом направлении на него только возлагались надежды, его исподволь готовили к предстоящей миссии и лишь отчасти испытывали к ней, осторожно направляя его перо публициста и постоянно напоминая ему о благосклонном внимании к его деятельности высочайших особ и их ближайших сподвижников. И если Достоевский к концу жизни и не стал придворным писателем, иные страницы его общественных записей подготавливались в официальных кругах и инспирировались их вождями.

Вот почему политическая позиция Достоевского в 70-е годы представляет значительный интерес, проливая свет на высшую правительственную механику конца царствования Александра II и одновременно освещая пути мысли и истоки тем воинствующего автора «Дневника писателя».

Не превращая свой единоличный ежемесячник в официальный орган, Достоевский в эту эпоху выступает все же активным реакционным публицистом.

Следует отказаться для последнего периода биографии Достоевского от обычного представления о том, якобы рядом с реакционером в нем уживался революционер, а публицистика его одновременно отливает и черным и красным. Взгляд этот, как известно, был высказан Д. С. Мережковским в его статье «Пророк русской революции», где, впрочем, имелась в виду только революция 1905 года: «Достоевский — пророк русской революции, — писал Мережковский, — но, как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств... Он был революцией, которая притворилась реакцией...» Статья Мережковского представляла собою модный в те годы вид субъективного этюда, построенного на положениях, отражающих личное воззрение автора, не подкрепленное объективной системой доказательств. Но мысль Мережковского, эмоционально и импрессионистски выраженная, разрабатывалась и позднейшими исследователями, которые, впрочем, не подвели под этот парадоксальный тезис достаточной документальной аргументации.

Между тем установление политической позиции Достоевского в 70-е годы представляет первостепенный интерес для его биографии, для истории его творчества, для изучения русской литературной, общественной и журнальной мысли 70-х годов. Это — большая и ответственная тема, требующая от исследователя прежде всего фактических доказательств и документального подкрепления своих выводов. Обращение же к источникам здесь неизбежно опрокидывает все заманчивые и обманчивые теории о скрытой революционности стареющего романиста. Достоевского-жертву и Достоевского-заговорщика следует решительно оставить при изображении последнего десятилетия его жизни. Данных к этому нет, а в прикрасах он не нуждается. Постараемся же из уважения к его творческому облику с возможной точностью установить последнюю стадию его политической эволюции.

Исходя из особого «христианского социализма» 40-х годов, Достоевский в дальнейшем стремился строго дифференцировать эти два начала своего раннего исповедания и первым победить второе. «Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством, — пишет он в „Дневнике писателя“, — и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и ци-

визации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 1848 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей».

Достоевский и был в молодости приверженцем того «зарождавшегося социализма», который через тридцать лет представлялся ему «розовым и райски нравственным». Но только теперь, на склоне своей жизни, он признает, что эта благодушная идиллия представляла собой по существу «мечтательный вред» и готовила человечеству «мрак и ужас в виде обновления и воскресения его». Теперь «христианский социализм», пленивший его в конце 40-х годов, представляется ему величайшей опасностью и гибельнейшим соблазном именно потому, что, баюкая мысль привычными гуманистическими идеалами, он приводит к безбожию и крови.

Один из героев «Братьев Карамазовых» замечает, что среди революционеров есть несколько особенных людей: «это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты... Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника».

Едва ли этими словами Достоевский не произносит осуждения своему собственному политическому исповеданию 40-х годов.

Защитники теории о революционных течениях в творчестве стареющего Достоевского указывают обычно на «Сон смешного человека» как на доказательство социализма писателя и в последнюю эпоху его жизни.

Между тем «Сон смешного человека» — одна из последних попыток Достоевского развенчать «утопистов», «теоретиков всеобщего счастья», «устроителей человечества». Рассказ этот во многом перекликается с «Записками из подполья». «Сон смешного человека» есть отрицание социализма как вредной утопии, как гибельной мечты с провозглашением необходимости для человечества объединиться единственно на основе евангельской этики. В духе своего последнего учения Достоевский зовет здесь к объединению не в науке и равенстве, а только в церкви и христианстве. Центральная глава рассказа — это новая сатира Достоевского на утопический социализм. Безгрешных и счастливых людей «золотого века» развращает «современный русский прогрессист и гнусный петербуржец». Именно он, этот современный прогрессист, приобщает совершенных и блаженных людей к разлагающему знанию, лжи, сладострастью, кровопролитию.

«Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Утратив счастье, они стали поклоняться идее всеобщего счастья и думать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе, как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела «премудрые» старались поскорее истребить всех „непремудрых» и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего».

Так преломляются в сновидении смешного человека реминисценции ранних увлечений Достоевского фурьеризмом и родственными ему учениями.

В земной рай социализма Достоевский не верит и открыто говорит об этом устами своего героя («...не бывать раю, ведь уж это я понимаю»), а выход из тупика истории он намечает теперь только в христианстве, очищенном от всякого социализма: «главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться». Таким поучением завершается рассказ о счастливом человечестве, утратившем свое счастье. Вскоре в «Братьях Карамазовых» этот принцип христианской этики отождествляется в отчетливую формулу теократии: «Церковь должна заключать сама в себе все государство». Так в последней стадии мировоззрения Достоевского христианство, некогда незаконно приобщенное к учению теоретиков-утопистов, окончательно очищено от всякой примеси социализма. Последний роман Достоевского возвещает об этой полной победе теократического идеала над ранней формацией его утопического мирозерцания.

## V

Ни по своей композиции, ни по своим тенденциям «Братья Карамазовы» не могут считаться лучшим созданием Достоевского, хотя в ряде страниц мастерство романиста и проявляет себя здесь в полной силе. Но великий мастер романа Достоев-

ский вообще не может быть признан непогрешимым. Напротив, своеобразнейшая черта его дарования — это право на ошибку, обеспечивающее ему свободу, непосредственность и горячность его художественной речи. Последний его роман, несмотря на исключительные творческие подьемы, не свободен от перебоев как в идейном, так и в художественном плане. Изучение писателя не может обходить и замалчивать этих сторон его творчества, нередко раскрывающих самые основы его проповеди. Анализ шедевра не исчерпывается панегириками в его честь, но требует пристального рассмотрения всего произведения, не исключая из поля зрения и его патологических тканей. Не ловить ошибки великого художника собираемся мы, а только осветить подлинную природу его последнего создания для правильного понимания творческой и мировоззренческой драмы умирающего Достоевского.

Обширный, многопланый и многоликий роман о карамазовщине далеко не равноценен в своих частях и компонентах. Необычайная острота, характеристик, напряженный трагизм изображенных страстей и пороков, отточенная диалектика бесед и споров, гениальная богословская критика в поэме о Великом инквизиторе — все это заслоняет от нас политическую природу романа. Между тем по основной тенденции своей последнее произведение Достоевского мало чем отличается от «Бесов», а кое-чем даже превосходит их по мрачности и безотрадности своего жесткого обличения. Вопросы государства и церкви, суда и печати, школы и национальностей, словом, почти все основные проблемы внутренней жизни самодержавной России здесь разрешаются в строгом духе официальной программы и нередко воплощаются в традиционные маски романистов-обличителей из «Русского вестника». Для правильного понимания «Братьев Карамазовых» необходимо всмотреться в эту политическую основу всего произведения и ощутить за волнующим уголовным сюжетом, за образами исключительной силы и жизненности, за исповедами горячего сердца и бунтами возмущенной совести идеи и тенденции того правительственного круга, с которым постоянно общался Достоевский в эпоху написания своей последней эпопеи.

В сопроводительных письмах при посылке рукописей романа в «Русский вестник» Достоевский раскрывает до конца эти публицистические устремления своего эпоса: он называет бунт Ивана Карамазова «синтезом современного русского анархизма» (т. е. революции): «Современный отрицатель, из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает,

что это вернее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому, но страшному социализму (потому что в нем молодежь) — указание, и кажется энергическое: хлебы, Вавилонская башня (т. е. будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист.

Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилистка, — вы знаете это) — сознательные иезуиты и лгуны, не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведение человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) — человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом „Великого инквизитора» на человечество, и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: „Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?»»

В одном из этих писем Достоевский прямо заявляет, что считает задачу свою в «Братьях Карамазовых» (разбитие анархизма) «гражданским подвигом».

Попытаемся проследить основные этапы публицистической работы Достоевского в его последней хронике.

В эпоху Александра II одной из больших проблем внутренней политики являлся новый суд, вызывавший непрестанную тревогу правительства слишком свободными формами судоговорения и английским принципом общественных судей. В знаменитом совещании высших государственных чинов 8 марта 1881 года, предопределившем направление всей внутренней политики Александра III, Победоносцев в программной речи, подводя свои неутешительные итоги только что закончившемуся царствованию, между прочим заклеил своим осуждением и новые судебные учреждения, эти «говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными». Это характерная точка зрения для реакционера 70-х годов, требующего пересмотра реформ начала царствования и, в частности, яростно нападающего на суд присяжных как на некоторую форму народного представительства в отпавлении государственных обязанностей.

Эту точку зрения усваивает себе понемногу и Достоевский. Сторонник судебной реформы в начале 60-х годов, он в 70-е годы выступает решительным противником присяжной адвокатуры и общественных судей. Уже в № 2 «Гражданина» 1873 года он возражает против института присяжных (якобы испытывающих

«ощущение самовластия» и одержимых «манией оправдания») и дискредитирует деятельность адвокатов («лжет против своей совести» и пр.). К этой теме он возвращается в «Дневнике писателя» 1876 года, критикуя выступление Спасовича («юная школа изворотливости ума и засушения сердца») и пр.

К концу жизни Достоевский успел и художественно оформить эту критику русского суда. В заключительной книге романа, в изображении дела Митеньки Карамазова, Достоевский развертывает в тончайших деталях ироническую картину состязательного процесса по судебным уставам 1864 года. При этом он не идет легким путем изображения кричащих отрицательных явлений, поражающих своим уродством или отсталостью. Все дано в образцовых формах. Раскрывается механизм как бы некоторого совершенного трибунала. Выдающийся адвокат, поражающий умом, эрудицией, красноречием; достойный соперник его в лице талантливого прокурора; образованный и гуманный председатель суда, человек «самых современных идей»; чуткая и внимательная медицинская экспертиза, настроенная всецело в пользу подсудимого, тончайшая система судебного следствия, блестящая остроумием и находчивостью приемов, наконец возбуждение к процессу общественного внимания всей России, всячески повышающее качество этого турнира талантов. И в результате не только преступление остается нераскрытым, но вся эта сложнейшая машина усовершенствованного судопроизводства приводит к нелепой и трагической ошибке: невинного человека признают виновным в отцеубийстве, лишают его «малейшего снисхождения» и приговаривают к двадцати годам каторжных работ. Как же это происходит? На чьей стороне вина?

Ответ Достоевского совершенно точен: виною всему — суд присяжных. Эффектная казуистика адвоката, этого «прелюбодя мысли», для которого всякое явление — палка о двух концах. Но главное — самый институт присяжных судей, выбранных от населения, вмешательство малосведущих представителей общества в принадлежащую государству и церкви функцию суда и кары над виновными. Кто судил Митю Карамазова? — четыре мелких чиновника, два купца и шесть городских крестьян и мещан. «Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение таким судьям?» — вполне разделяет это тревожное недоумение публики на карамазовском процессе сам Достоевский.

Случайные члены населения, неподготовленные к общественным делам, выполняют верховные и самые ответственные

функции государственной власти. Они только и могут, что «прикончить нашего Митеньку» вместо вынесения ему ожидаемого всеми «неминуемого» оправдательного приговора. Невольно вспоминаются слова Победоносцева о том, что суд «родит толпу адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, чтобы действовать на массу»; в лице присяжных «в нем действует пестрое смешанное стадо, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступно ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки».

Нужно помнить, что в эпоху написания романа вопрос об общественном суде стоял особенно остро: только что была оправдана присяжными Вера Засулич и политические дела изъяты из ведения суда присяжных. Случай карамазовского процесса — но в обратном смысле — имел место на знаменитом политическом процессе 1878 года: несмотря на неминуемый обвинительный приговор, тщательно подготовленный правительством, присяжные оправдали террористку. Правая печать признала приговор, освободивший Веру Засулич, «чудовищным делом», и органы Каткова и Мещерского открыли яростную кампанию против суда присяжных. В процессе Митеньки Карамазова Достоевский отражает этот поход правительственной прессы против общественного суда.

Нетрудно заметить, что в изображении пореформенного трибунала Достоевский, присутствовавший среди представителей печати на разборе дела Веры Засулич 31 марта 1878 года, использовал ряд бытовых деталей знаменитого процесса. Дело Дмитрия Карамазова тоже «получило всероссийскую огласку», «потрясло всех и каждого»: в суде присутствовало «несколько знатных лиц», «сановные старички со звездами на фраках» (на процессе Засулич — канцлер Горчаков, государственный секретарь Сольский, А. Г. Строганов, А. А. Абаза, сенатор Арцимович, петербургский губернатор и несколько членов Государственного совета). Здесь, впрочем, близость к действительности могла бы вызвать некоторые возражения: вполне понятно присутствие сановников в столичном суде на разборе политического дела о покушении на петербургского градоначальника; но откуда им взяться в глухом захолустном Скотопригоньевске на разборе частного-уголовного случая?

Близки к обстоятельствам процесса 1878 года и другие черты описания Достоевского. «Особенно много оказалось дам» (в воспо-

минаниях А. Ф. Кони сохранился длинный перечень представителей сановного Петербурга, получивших билеты на процесс); большое количество юристов. Председатель суда на карамазовском деле — «человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей», имеющий связи и состояние, интересующийся делом как «продуктом наших социальных основ», но довольно безразличный к личной трагедии его участников, весьма напоминает председателя на процессе Засулич А. Ф. Кони. Болезненно-восприимчивый прокурор Митеньки «самолюбивый наш Ипполит Кириллович, произнесший умную и дельную речь», вероятно, был срисован Достоевским с обвинителя Веры Засулич. Из воспоминаний Кони мы знаем, что товарищ прокурора Кессель был угрюмым и строптивым человеком, отличавшимся болезненным самолюбием. Речь свою он построил умело и тактично. Защитник Александров начал с похвалы «благородной сдержанной речи товарища прокурора» и заявил о своей согласии «со многим из того, что сказано им».

Еще явственнее черты защитника Веры Засулич Александрова в лице адвоката карамазовского процесса Фетюковича. Выдающееся мастерство слова, художественная литературность речи, высший подъем красноречия, ошеломляющее впечатление на слушателей — все это так же характерно для защитника Митеньки, как отдельные места речи Александрова: «то был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл»; «теперь по отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам нетрудно вообразить и настоящую картину экзекуции». Речь произвела исключительное впечатление и была единодушно признана блистательной. «Александров, — свидетельствует один из очевидцев, — был неподражаем. То он извивался, как змея и вливал свой смертоносный яд в нанесенные им раны, то он вздымался, как орел, и сверху вниз наносил своей жертве неотразимые удары...» Все эти приемы уловлены в портрете Фетюковича; «он все как-то изгибался спиной»; в первой половине речи — критика и сарказм, во второй — высокая патетика, от которой восторженно трепещет зал; буквально воспроизводится и вмешательство Кони в рукоплескания публики по адресу Александрова, нарисовавшего яркими красками картину экзекуции (в романе: «председатель, слышав аплодисмент, громко пригрозил очистить залу суда...»).

Осуждение европейски-либерального суда присяжных в последних главах «Карамазовых» производится во имя положения,

высказанного в начале романа: «суд церкви есть суд, единственно вмещающий в себе истину». Характерно, что философ романа Иван Карамазов выступает в печати со статьей о церковно-общественном суде. Достоевский затрагивает по этому поводу одну из главных тем реакционного исповедания эпохи.

Краеугольным камнем своей программы Победоносцев считал вопрос о церкви и государстве. Борьбу этих начал он признавал знаменательнейшим явлением своего времени, утверждая, что «церковь как общество верующих не отделяет и не может отделять себя от государства как общества, соединенного в гражданский союз». Иван Карамазов развивает аналогичное положение, в котором Достоевский сходится с Победоносцевым и Тertiем Филипповым: «церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол». Монахи в романе утверждают, что не Рим и не Лютер, а православие обратит государство в церковь. В плане этих обсуждений в роман вводится эпизод, вызвавший целую главу в «Дневнике писателя», весьма одобренную Победоносцевым: о русском солдате Фоме Данилове, умерщвленном азиатами за отказ перейти в магометанство; на эту тему, как известно, развивает свою скептическую «контроверзу» Смердяков.

Во всяком случае, заканчивая роман, Достоевский в письме к Победоносцеву просит его обратить особое внимание на сентябрьскую книжку «Русского вестника», где кончается 4-я и последняя часть «Карамазовых»: «в этой сентябрьской книге будет суд, наши прокуроры и адвокаты — все это выставлено будет в некотором особенном свете». Но и без этого свидетельства мы знаем, что сатира на современный суд в карамазовской «Судебной ошибке» вполне соответствует церковно-юридическим воззрениям знаменитого цивилиста, возглавлявшего с весны 1880 года святейший Синод.

## VI

Наряду с новым судом бдительное внимание власти привлекала и русская либеральная печать. К этому весьма робкому способу создать в России подобие общего мнения Победоносцев относился с величайшей подозрительностью и предвзятым осуждением: «Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени». Любой уличный проходимец «может, имея деньги, основать газету и с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правите-

лей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность». Победоносцев особенно нападает на «корреспонденции из разных углов», равносильные анонимным пасквилям, и яростно клеймит «гнусный промысел шантажа», свивающий себе гнездо в недрах современной газеты.

В полном согласии с этими воззрениями правительственной реакции на печать охранительный роман-памфлет создает бродячий тип газетного деятеля, отмеченного всеми указанными свойствами. Образ прогрессивного журналиста, являющего в жизни черты моральной нечистоплотности, бытует в консервативных романах Лескова. Таков уездный учитель Зарницын в «Некуда», посылающий обличительные заметки в катковские «Московские ведомости», Тишка Кишенский в «На ножах», мелкий газетчик и полицейский сотрудник, открывающий кассу ссуд и участвующий в трех разных газетах противоположного направления, Варнава Препотенский в «Соборянах», посылающий в Петербург «резкие статейки» о жизни своего захолустья и наконец попадающий в столицу, где он становится редактором большого органа. Таков же в «Панурговом стаде» Крестовского литератор-провинциал Ардальон Полояров, пишущий статьи «о немецко-татарском деспотизме петербургского царизма» и продающий богатым откупщикам за крупные суммы пасквили, написанные на них. Черты маски однородны: продажность, карьеризм, крайняя неразборчивость в средствах, доходящая до уголовщины, при демонстративном исповедании «прогрессивных идей». Достоевский зачертил мимоходом этот тип в «Идиоте», изобразив здесь боксера Келлера, который помещает в «еженедельной газете из юмористических» (очевидно, в «Искре») статью пасквильного и шантажного характера под заглавием «Пролетарии и отпрыски, эпизод из дневных и вседневных грабежей. Прогресс! Реформа! Справедливость!» Достоевский полностью воспроизводит в романе эту статью, давая в ней сгущенную и резкую пародию на обличительную корреспонденцию 60-х годов.

В «Братьях Карамазовых» этот тип представлен «семинаристом-карьеристом» Ракитиным. Это попович, ставший сотрудником столичных изданий. Он посылает в журнал корреспонденцию о процессе Дмитрия Карамазова, охотно играя на прогрессивной теме «застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений». Он, по замыслу и выполнению Достоевского, оказывается хищником, сводником, торгашом своими мнениями. Сотрудник радикальной прессы, он пишет брошюры, издаваемые

епархиальным начальством «с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному». Сам он излагает Алеше меткую характеристику, данную ему Иваном: «примкну к толстому журналу», «буду его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком», «но держи ухо востро, то есть, в сущности, дружа нашим и вашим», «пока не выстрою капитальный дом в Петербурге...» Алеша подтверждает, что «это, пожалуй, как есть все и сбудется».

В программе реакционеров особое внимание уделялось вопросам народного просвещения в целях ограждения подрастающего поколения от «революционной заразы». Имена соответственных министров — «классика» Толстого и врага «кухаркиных детей» Делянова — надолго сохранились в памяти русской интеллигенции. Победоносцев в статьях о народном просвещении пытался оберечь русскую школу от «лукавой диалектики современных просветителей». Охранительный роман, отвечая на эту задачу царского правительства, вводил в круг своих персонажей учащуюся молодежь (стриженные курсистки, студенты-естественники и пр.). Особую «маску» представляет здесь гимназист-обличитель, рано приобщившийся к революционной доктрине. В «Панурговом стаде» гимназист Шишкин бредит «дарованием новых прав и диктатурой над русской землею»... Аналогичная фигура выведена и в «Мареве» Ключникова — гимназист, «известный в свете под именем нигилиста „Коли“»; «дерзко заявляющий почтенным гражданам: „Я вас в ведомостях обличил да еще в воровстве“».

Этому типу соответствует в «Братьях Карамазовых» мальчик Коля Красоткин, видимо, революционер в зародыше, подросток-гимназист, заявляющий о себе «я социалист», считающий себя знатоком народа, цитирующий Белинского и Вольтера, заявляющий Алеше, что «христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс»... Достоевский изображает его без обычной злобной иронии, но не без тенденции указать на «больное явление» русской действительности и раннюю зараженность подрастающего поколения гибельными революционными теориями.

Наконец в романе «катковской» школы обычно выводятся положительные образы русского духовенства, как бы в противовес всем представителям бесовских ратей и «панурговых стад». Здесь сосредоточивается моральный пафос обличительной сатиры. Евангел («На ножах»), Иосаф («Панургово стадо»), игуменья мать Агния («Некуда») — вот те опорные пункты, откуда раздаются голоса поучения и проповеди.

В романах Достоевского образы Тихона и Зосимы выполняют ту же композиционную функцию в общей системе изображения новых людей, и недаром часть романа, озаглавленную «Русский инок», Достоевский считал краеугольным камнем всей эпопеи.

Есть в «Братьях Карамазовых» один образ, словно вобравший в себя в максимальном напряжении весь запас гневной ненависти автора к разрушителям алтаря и престола. Для окончательного поругания и посрамления идейного врага — материализма, атеизма, космополитизма и теории борьбы и разрушения — все эти мятежные течения, идущие войной на ветхий мир старорусского деспотизма, косности и невежества, воплощены в отвратительной фигуре Смердякова.

Лакей распутного вольнодумца Федора Павловича Карамазова, сын его от идиотки Лизаветы Смердящей, эпилептик, отцеубийца, моральное чудовище и духовный труп, разлагающийся на глазах читателя, — вот в какой синтетической фигуре олицетворяет Достоевский всех новейших представителей «левого доктринерства» и «европеизующей интеллигенции». Смердяков представлен в романе крайним западником, ненавидящим царскую Россию и желающим ей погибели. Это — по-своему тончайший аналитик и диалектик, рассекающий своей элементарной, но не лишенной гибкости мыслью все церковно-национальные и государственно-патриотические предания, которые стремится сохранить и сберечь в своем предсмертном романе Достоевский.

## VII

Обличение нигилизма шло в «Братьях Карамазовых» и по национальному признаку — Достоевский был одним из сторонников реакционной легенды, что все социально-революционное зло исходит от еврейства. Несмотря на его осведомленность в социалистической литературе 40-х годов в лице французских по национальности авторов — Фурье, Консидерана, Прудона, Луи Блана, несмотря на его личное участие в кружке Петрашевского, где не было ни одного еврея, вопреки наконец его пристальному вниманию к таким фигурам русской революции, как Герцен, Бакунин, Огарев, Нечаев, Каракозов, Чернышевский, — автор «Бесов» поддерживал утверждения Мещерских и Суворинных о юдаистической природе социализма в теории и действии. В этом отношении характерно письмо Достоевского к редактору «Гражданина» В. Ф. Пуциковичу от 29 августа 1878 года «о Лас-саях, Карлах Марксах» и пр.

В письме мимоходом названы поляки — главная тема воинствующего шовинизма Каткова. Польский вопрос был одной из наиболее больных и острых тем тогдашнего правительства. После восстания 1863 года в Западном крае проводится жестокая руссификаторская политика, вызывающая естественное возмущение коренного населения. Русская правофланговая беллетристика вводит в круг своих привычных персонажей шаблонную фигуру героя-поляка, подрывающего основы русской государственности. Лесков выводит в «Некуда» студента Костана Слободзиньского и старого офицера бывших польских войск Владислава Ярошиньского, который оказывается переодетым иезуитом. В «Панурговом стаде» Крестовского фигурируют в тех же предательских ролях полковник Пшециньский и ксендз Кунцевич. В «Мареве» Ключникова действуют граф Владислав Бронский, провокатор, приветствующий крестьянские восстания тайно пересылающий оружие в Польшу. Он литографирует для подпольных кружков Фейербаха и состоит на секретной службе у губернатора. Среди студенческой оппозиции здесь выступают товарищи Пшиндишкевич, Джемпиковский. Вшищинский. Все это карикатурные персонажи традиционного и условного порядка.

Следуя этому канону, Достоевский выводит гротескные фигуры «полячков» на тризне по Мармеладову и намечает аналогичный образ в «Бесах». Об этом имеется беглое указание в начале романа: «Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали». Фигура эта не получила дальнейшего развития. Но в «Карамазовых», уже в полном согласии с традицией реакционного романа, выведены поляки Муссялович и Врублевский, засаленные проходимцы, намеренно коверкающие на польский лад русские слова. Достоевский мимоходом вносит в их характеристику легкий политический штрих. Паны отказываются поддержать тост Мити за Россию и, в виде любезности, поднимают стаканы «за Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года». В дальнейшем они оказываются шулерами. Эпизодические фигуры, они выдержаны в характерном стиле «катковского» романа.

Националистические тенденции реакционных романистов сказываются и в откровенном антисемитизме. В «Панурговом стаде» выведен «губернаторский чиновник по особым поручениям, маленький черненький Шписс (вероятнее всего из могилевских жидков)». Здесь же фигурирует и богатый студент еврейского типа, выступающий против «беложилетников-аристократов»...

У Лескова в «На ножах» действует литератор-ростовщик, иудей Тишка Кишенский. Среди героев «Некуда» имеется Нафтула Соловейчик, выдающий себя «за озлобленного представителя непризнанной нации». У Писемского во «Взбаламученном море» выведен крупный делец, коммерции советник Эммануил Галкин в ермолке и шелковом сюртуке. Эта традиция памфлетического романа мимоходом сказывается у Достоевского в персонаже «жидка Лямшина» (в «Бесах») и получает в «Братьях Карамазовых» заметное развитие.

Резкие националистические выпады, которыми так изобилует «Дневник писателя», имеются и в последнем романе Достоевского (см., например, места о пребывании Федора Павловича Карамазова в Одессе, о спекуляциях Грушеньки и пр.). Особенно показателен в этом отношении диалог Лизы Хохлаковой с Алешей: «Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, и потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эк скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался...» И на вопрос истерической девицы любимейший из героев Достоевского дает ошеломляющую экспертизу: «„Алеша, правда ли, что жида на пасху детей крадут и режут?“ — „Не знаю“».

По своему обыкновению, Достоевский вводит здесь в роман тему текущей публицистики. В эпоху написания «Братьев Карамазовых» царское правительство было как раз занято очередным «ритуальным процессом» — так называемым «Кутаисским делом». В апреле 1878 года, как водится в таких случаях, в самые кануны еврейской пасхи исчезла из закавказского селения девочка-грузинка. Вопреки всем обстоятельствам следствия и даже медицинской экспертизе, девять евреев были преданы суду по ритуальному обвинению. Правая печать оживилась для пропаганды кровавого мифа и обработки общественного мнения к предстоящему процессу. Из архивов секретных канцелярий были извлечены старинные упражнения царских чиновников в кровавых наветах.

В «Гражданине» рядом с фельетоном Достоевского «Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова» появляется статья «Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови (составлено тайным советником Скрипицыным, директором департамента иностранных исповеданий, по распоряжению министра внутренних дел графа Перовского для императора Николая I, наслед-

ника-цесаревича, вел. князей и членов Гос. совета)», а в одном из следующих номеров «Подробное изложение фактов об убийствах евреями христиан для добывания крови». Продолжением этих публикаций в начале следующего года явилась статья «Жи́ды-изуверы и их защитники. По поводу дела о новом убийстве христианской девочки для добывания крови». Как характеризовала сама редакция, это — ряд статей, в коих изложены на основании официальных данных ужасающие читателя подробности обо всех убийствах христиан, преимущественно детей, жидами для добывания христианской крови»... («Гражданин». 1879. № 4).

Причины такого усиленного внимания «Гражданина» к этой теме вскоре разъяснились. В начале 1879 года журнал Мещерского сообщал: «Мы еще не кончили статей по этому вопросу, как уже в Кутаисе назначено к слушанию новое, самое, так сказать, современное, весьма интересное дело в этом роде: несколько жидов обвиняются в убийстве малолетней христианской девочки с целью добывания христианской крови». («Гражданин». 1879, с. 60).

Все это, естественно, вызвало широкие общественные отклики и протесты. Недаром адвокат Александров (незадолго перед тем защищавший Веру Засулич) заявил на суде, что Кутаисское дело — первый гласный процесс по обвинению евреев в ритуальных преступлениях, и что обязанность судебного деятеля не только защищать подсудимых, но и способствовать разъяснению вопросов, представляющих исключительный общественный интерес.

Против выдвинутых обвинений одновременно раздались энергичные возражения в печати. По словам самого «Гражданина» (1879, с. 60), на днях появилось решительное опровержение этих нескольких вековых, международных обвинений против евреев — уже не со стороны самих евреев, а со стороны г. Спасовича, известного присяжного поверенного, писателя и бывшего профессора уголовного права». Оказывается, Спасович заявил в печати: «по своему глубокому убеждению, дела, подобные настоящему, доказывают только непомерную живучесть легенд прошлого времени, как бы нелепы эти легенды ни были». Орган Мещерского ответил знаменитому криминалисту жестокими издевательствами над его адвокатской деятельностью.

В этой тревожной и разгоряченной атмосфере, среди напряжённых споров и борьбы за истину, малейшее колебание которой повлекло бы осуждение невинных и, может быть, неисчислимые

кровавые последствия, великий писатель, к которому страстно прислушивались широкие читательские круги, поднялся и произнес свое «не знаю». В религиозно-философском романе о «раннем человеколюбце» он счел возможным использовать злобствующую кампанию «Гражданина». В печатавшихся Мещерским «сведениях об убийстве евреями христиан» автор «Карамазовых» почерпнул материал для своего комментария к Кутаисскому процессу. В статьях «Гражданина» в огромном количестве приводились дикие измышления о еврейских «изуверствах» вроде таких якобы признаний: «одного ребенка я велел привязать к кресту, и он долго жил; другого велел пригвоздить, и он скоро умер» («Гражданин». 1878, № 2–25) и проч. Сведения эти почти буквально повторяет в романе Лиза Хохлакова перед безмолвствующим Алешей.

Приходится отметить, что даже суд оказался в эту трудную минуту выше печати: обе инстанции вынесли всем обвиняемым оправдательные приговоры. В Тифлисской судебной палате прокурор даже отказался поддерживать обвинение. Но «Братья Карамазовы», писавшиеся в этой атмосфере яростного националистического похода правой печати, отчетливо отражают это течение и совершенно недвусмысленно примыкают к нему. Внешне пассивный и по существу момента убийственный ответ Алеши Карамазова на вопрос Лизы звучит в полном согласии с кампанией официозов и поддерживает кровавый миф, наново обработанный царскими чиновниками и правительственными публицистами в целях обоснования погромной политики царизма.

Таковы были общие тенденции романа. В традициях «Панургова стада» и «На ножах» строятся здесь образы, обличающие нигилизм или возвеличивающие русскую церковность и монархическую государственность; в духе крайней политической реакции трактуются большие и острые темы тогдашней общественности, якобы ведущей страну к разрушению и гибели. Богоборческая философия Ивана Карамазова и вся его критика евангелия, являя высочайшие вершины интеллектуальных бунтов, не могут поколебать прочных позиций политической реакции, глашатаем которой выступает в своем последнем романе Достоевский. Своей жестокой эпопеей многогрешной, но богоспасаемой России умирающий писатель стремится дать новый решительный отпор «бесовским ратям» очнувшейся революции. Недаром отдельные образы и эпизоды романа обсуждались до написания в кабинете Победоносцева, который с таким пристальным вниманием следил за публикацией «Карамазовых». Основные выводы предсмертной

хроники Достоевского неощутимо охвачены безотрадными поучениями его последнего друга, вкрадчиво излагавшего ему своим витийственным слогом непререкаемые каноны самодержавной программы о беспощадном повороте вспять Российской империи, расшатанной реформами и истощаемой революциями. И кажется, грозные выводы синодального обер-прокурора об «омерзительном лабиринте» российской современности выражает в паническом финале своего обвинения прокурор романа, вызывая перед слушателями образ бешено скачущей тройки, вселяющей омерзение и ужас в сторонящиеся от нее народы.

Во всяком случае, не подлежит сомнению, что Достоевский занес отголоски этих бесед в свой последний роман. Осмеяние в «Карамазовых» прогрессивной печати и общественного суда, вражда к «иноверцам» и провозглашение теократии высшей формой государственного бытия для России — вот те подводные течения романа, которые в движении и лицах, в драме и образах так выпукло отражали сущность разделяемой его автором официальной программы.

Такова была книга, которую 16 декабря 1880 года Достоевский лично представил в Аничков дворец в собственные руки его высочества наследника. Направление романа вполне оправдывало такое высокое подношение. По своим политическим установкам это была в полном смысле книга *ad usum dauphini*, особенно же того российского дофина, который через два месяца стал Александром III.

## VIII

«Бесы» писались в эпоху Парижской коммуны. «Братья Карамазовы» создавались в накаленной атмосфере народовольческого наступления, под выстрелы, взрывы и казни последних лет царствования Александра II.

Политическая программа Достоевского в последний год его жизни отражает возникшие колебания правительственного курса. С большой пристальностью следит он за событиями, готовясь снова приступить к ведению своего «Дневника писателя». По свидетельству современников, он радовался «замирению» (т. е. «диктатуре» Лорис-Меликова).

В праздник 25-летия Александра II, т. е. через несколько дней после объявления нового курса, он был необыкновенно весел; он говорил: «Вот увидите, начнется совсем иное». Покушение на жизнь начальника «верховой комиссии» его смутило. «Со-

храни бог, если повернут на старую дорогу»... Он чрезвычайно интересовался, какими людьми окружает себя Лорис. «Я ему желаю всякого успеха», повторял он.

Самый монархизм Достоевского приобретает в эту эпоху новый оттенок. Непоколебимый сторонник самодержавия и враг конституции, он в полном согласии с правительственными видами высказывается за патриархальные формы совещания с «землею»; об этом, как известно, он говорит в последнем выпуске «Дневника писателя»: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, и они скажут вам правду». Но это отклонение отнюдь не было уступкой либерализму. В том же выпуске «Дневника писателя» Достоевский с обычной неприязнью отзывается о «европейских русских», мечтающих об «увенчании здания», о «говорильнях» и пр. Работая над этим последним выпуском «Дневника писателя» за десять дней до смерти, Достоевский говорит «о земском соборе, об отношениях царя к народу, как отца к детям», причем конституцию он называл «господчиной» и особенно настаивал на том, что свобода в России установится по особому, не по западному образцу — «без всяких революций, ограничений, договоров». Сочувствие новому правительственному курсу несколько не свидетельствовало о внутренних политических «сдвигах» Достоевского. Диктатура Лорис-Меликова была установлена по мысли реакционнейшего наследника цесаревича (вскоре Александр III), проект «диктатора» о привлечении к управлению страной представителей земств и городов был принят и одобрен Александром II; наконец крупнейший публицист монархии Катков горячо поддерживал все мероприятия начальника верховной комиссии. Сочувствие Достоевского к Лорису и его проекту совещания с землею несколько не выводило «Дневник писателя» из высочайше одобренного круга правительственных мероприятий. Так хотели при дворе, в этом направлении поддерживали правительство «Московские ведомости».

В 1880 году правительственная партия вынуждена взять либеральный курс, она скрепя сердце высказывается за реформы, за увенчание здания, за привлечение населения к управлению страной. Сам Катков сочувственно приветствует мероприятия Лорис-Меликова, а на пушкинских торжествах в Москве произносит покаянную и примирительную речь с прогрессивными намеками («...все шире и шире будет становиться область, в которой люди разных мнений могут сходиться мирно и даже дружно»).

В атмосфере растущего революционного террора за конституцию высказываются великие князья, влиятельнейшие санов-

ники, вожди охранительной печати, сам царь. Руководящие круги понимают практическую целесообразность этого правительственного маневра для успокоения общества и изоляции революционеров. Достоевский произносит свой призыв «серых зипунов» не вразрез с высочайшими предназначениями, а среди сочувственного хора высокопоставленных единомышленников. В полном согласии с правительственным оркестром он выражает высочайшую волю накануне ее официального изъяснения. Здесь не только нет и намек на оппозицию, но, как и во всем «Дневнике писателя», прокламируется и пропагандируется дело власти. При этом правительственные круги даже оказались фактически левее Достоевского, шире его понимая объем и пределы народного представительства. В то время как Валуев, Меликов и даже Константин Николаевич предлагают в разных вариантах призвать к управлению выборных от земств и городов, и Александр II соглашается принять один из этих вариантов, Достоевский считает вполне достаточным опросить народ на местах. В то время как правительственные проекты открывают путь интеллигенции к участию в «комиссиях», Достоевский тщательно оговаривает устранение интеллигентов от предстоящего совещания с предоставлением в нем голоса одному крестьянству и даже его наиболее реакционным слоям.

Из всех «конституций» 1880 года проект Достоевского — самый робкий, умеренный и консервативный. «Как ни кургузы были предложения Лориса, Константина и Валуева, они все же призывали к участию в управлении выборных представителей города и деревни», от чего тщательно предостерегает петербургскую власть «Дневник писателя».

Революционный террор ставит в эти дни перед Достоевским опаснейшую этическую проблему о праве «предупреждать» политические покушения. Его исключительно волнуют все террористические акты у нас и на Западе — Вера Засулич, выстрел в германского императора, выступления анархистов в Европе. Об его отношении к убийству шефа жандармов Мезенцова мы можем судить по его сочувствию к поминальной речи на эту тему московского проповедника Амвросия, в которой говорится о «невинной жертве, закланной за благо отечества» и о ворах, «расхитивших наше лучшее достояние». События политического дня вырастают в эти годы для Достоевского в мучительную проблему личного долга, жертвы и подвига. Суворин оставил интереснейшую запись о своей беседе с Достоевским 20 февраля 1880 года (т. е. через две недели после халтуринского взрыва в Зимнем

дворце и в самый день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова), свидетельствующую о величайшем смятении в душе писателя. «...Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» — «Нет, не пошел бы»... «И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас! Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода... Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые бы мне не позволяли это сделать. Это причины — прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком...» и пр. Если сравнить эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 года, придется пожалеть об упавшей политической морали великого романиста. Он словно не замечает, что «предупреждение» неизбежно повлечет казнь нескольких революционеров («причины прямо ничтожные»). Он не чувствует, что вполне уподобляется столь ненавистному ему Петру Верховенскому, задающему на собрании у Виргинского свой коварный вопрос: «если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий...»

В таком состоянии тревоги и растерянности Достоевский выработывает последний вариант своей политической программы, ни в чем не меняющий ее основных положений. В своем проекте реформы (опрос правительством крестьянства на местах) Достоевский исходит из представления об особом виде патриархального монархизма с преимущественной заботой царя о крестьянах. Это одно из положений правого славянофильства, в исповедании которого Достоевский ближе всего к Третью Филиппову.

Но вообще он не доверял народу. Во время политических выступлений наших, он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. «Вы не видели того, что я видел, — говорил он. — Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». Вероятно, Достоевский, говоря так, вспоминал убийство своего отца крестьянами или некоторые эпизоды своей каторжной жизни.

Во всяком случае, предполагаемая им «свобода» не выходила за пределы семейственной идиллии верховной власти и населения. В своем последнем «Дневнике» он призывал даже не к земскому собору, не к крестьянскому съезду или сходу, а к всерос-

сийской сельской анкете: «не нужно никаких великих подъемов и сборов: народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам». Только не допускать к этому делу интеллигенцию, — «высказаться должен один только заправский мужик». «Правда, — продолжает Достоевский, — с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот же мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят и правдивое слово скажут — такова уже наша народная особенность». Вот о каком «земском представительстве» думал в свои свободолюбивые минуты умирающий Достоевский!

Произнесенная за полгода до смерти знаменитая речь о Пушкине понималась самим автором как провозглашение партийной программы. К этому отчасти обязывало его выступление от имени Славянского общества. Мы уже видели, что в письме к Победоносцеву от 19 мая 1880 года Достоевский признавал речь о Пушкине написанной в самом крайнем духе своих — «наших, то есть осмелюсь так выразиться, убеждений». Почти накануне произнесения речи А. Г. Достоевская пишет мужу: «ничего бы так не желала, как торжества вашей партии, а вместе и твоего» (из письма А. Г. Достоевской от 3 июня 1880 г.).

На приветствия А. Суворина после произнесения речи Достоевский отвечает: «А, каково? наша взяла!» По свидетельству жены Суворина, «Алексей Сергеевич передавал это с восторгом, так как сам был всегда националистом и русским до глубины души. Я это совершенно не понимала и удивлялась, что даже у таких громадных людей бывает такое тщеславие. Но мой муж объяснил, что это вовсе не тщеславие, а торжество их взглядов, их идей. Торжество закончилось апофеозом Достоевского, и все перед ним побледнело» (А. И. Суворина. «Воспоминания о Достоевском»). Так же воспринял речь о Пушкине и Победоносцев. С высоты своего государственного поста он приветствует Достоевского за то, что ему удалось отодвинуть назад безумную волну, которая готовилась «захлестнуть памятник Пушкина»; «радуюсь за вас и особенно за правое дело, которое вы выручили».

Мы видим, что знаменитую пушкинскую речь 8 июня произносил представитель определенной партии. Исключительный дар изложения и свойственное Достоевскому умение, «коснувшись одних струн души, заставляя звучать все остальные», совершенно скрыли от слушателей эту программную тенденцию его слова. Впрочем, иные из них, как Глеб Успенский и Салтыков, отнеслись скептически к проповеди «всечеловеческой» люб-

ви, пока Победоносцев и Суворин приветствовали победу своего единомышленника. Заключительный литературный триумф Достоевского оказался одновременно и одним из его крупнейших политических успехов.

Сохранившиеся воспоминания о беседах с Достоевским к концу его жизни свидетельствуют о сгущающейся мрачности его политического пессимизма, затемняющего даже его обычно безошибочные художественные оценки. В последние годы Достоевский принимает для своей поэтики опаснейший и весьма спорный принцип, который, к счастью, ему не удастся полностью приложить к своему творчеству, но который весьма плачевно отражается на его читательских вкусах и отзывах: «я ставлю занимательность выше художественности».

Великий мастер романа, до конца не знавший поражений в своем искусстве, Достоевский пережил некоторую эпоху упадка в своей литературной эстетике. Это снижение было обусловлено и политическими соображениями. Писатели и журналисты реакционного лагеря становятся его любимцами, разночинная литература с гневом отвергается. Он чрезвычайно хвалит роман Мещерского «Граф Обезьянинов на новом месте», считая, что эту книгу надо пропагандировать. Бесцветного нововременского беллетриста Н. К. Лебедева-Морского, автора романов «Содом» и «Аристократия гостиного двора», Достоевский признавал очень большим талантом и видел в нем «своего прямого преемника в разработке известных литературных задач». Он ценит и неоднократно цитирует в «Дневнике» фельетоны «всем известного Незнакомца» и лично завязывает дружеские отношения с А. С. Сувориным. Не лишено характерности, что в эту эпоху Достоевский особенно ценит Буренина, считая его и Страхова «единственными у нас серьезными и талантливыми критиками». В противовес этому он с величайшей враждой отзывается о представителях левого направления: «Семинаристы, вот кто погубил Россию — Чернышевский, Добролюбов и т. д.» Когда его собеседник удивился его словам, он сказал, что «когда-то был петрашевцем, но давно излечился и от души ненавидит всех революционеров».

Так, роняя последние остатки гуманического идеализма 40-х годов, закатывалась политическая мысль Достоевского.

## IX

Можно отводить за бездоказательностью все предположения о том, какую политическую позицию занял бы Достоевский в два

последующие за его смертью царствования. Авторитетное свидетельство Победоносцева, впрочем, решительно указывает на вероятное продолжение взятого курса. По поводу отказа А. Г. Достоевской дать Мещерскому для напечатания в «Гражданине» неизданные стихи Достоевского Победоносцев писал ей: «Я уверен, что Федор Михайлович, если б был жив, непременно принял бы в нем [в «Гражданине»] деятельное участие и одобрил бы его направление» (15 декабря 1882 г.).

Необходимо, во всяком случае, признать, что русская правительственная жизнь конца XIX века, руководимая ближайшими друзьями и единомышленниками Достоевского, не переставала в течение целого двадцатипятилетия осуществлять принципы государственной программы, прокламированные «Дневником писателя». Ограничение прав общественного суда, наступательная правительственная политика в национальном вопросе, охрана подрастающего поколения от социализма и атеизма — вся эта деятельность русского царизма между 1881 и 1905 годами находится в полном согласии с политическими тезисами «Дневника» и «Братьев Карамазовых». Сопоставляя тексты с фактами, можно заключить, что правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского, образ которого и лично запомнился многим виднейшим представителям династии. Политическая пропаганда Достоевского пустила корни в русскую жизнь и принесла свои плоды.

И если современная Достоевскому власть, при всем уважении к нему, недостаточно отчетливо приобщила его к своему официальному делу, отводя ему преимущественно роль духовного наставника молодых Романовых и свободного пропагандиста монархических идей, в последующее царствование его загробное влияние явственно ощущается на общем, направлении внутренней политики страны. Восемидесятые и девяностые годы — эпоха государственного осуществления идей Достоевского под непосредственным воздействием его единомышленников — Победоносцева, Мещерского, Третья Филиппова, Суворина, Вышнеградского, Черняева, Константина Романова, Сергея Александровича и наконец самого царя, недавно лишь получившего из авторских рук семейную хронику Карамазовых.

Мы считали существенным проследить связь писателя с правительственными кругами 70-х годов, расширяющую наше понимание одного из его крупнейших произведений. Не менее важно точно установить и политический баланс его публицистики, ибо

на Достоевского ложится часть ответственности за русскую государственную политику последующих лет. В исторической перспективе очевидно, что «Дневник писателя» не был безобидным словесным упражнением его автора. Достоевский в 70-е годы как бы подготавливает реакционную политику конца столетия. В духе государственных идей Победоносцева он отстаивает для верховной власти принципы византийского «цезарепапизма», восхищаясь Павлом I, облачавшимся в далматик первосвященника; во внешней политике он ратует за старинную традицию российской великодержавности, направленную к захвату Константинополя и проливов, и одновременно за новую завоевательную экспансию в Азии в противовес колониальному влиянию Великобритании. Во внутренних делах он не только «ставит точку реформам», но требует обратного хода: назад к сильной власти эпохи его детства и молодости, когда на русском престоле высилась столь импонировавшая ему фигура «монарха, верившего в свой сан и в свое право» и властвовавшего на основе уваровской триединой формулы о самодержавии, православии и народности. Именно се воскрешает «Дневник писателя», восполняя новую теократию принципом опроса земских в целях придания петербургской власти и византийской церковности русского народного стиля. Этот политический эклектизм, лоскутно сочетающий Петербург, Византию и русскую избу, усвоила себе эпоха Александра III.

Таков в общих чертах эпилог Достоевского. Длительный процесс обращения к самодержавию и решительной «измены прежним убеждениям» завершается в эпоху подношения наследнику «Бесов», «Дневника писателя» и «Карамазовых», духовного воспитания великих князей и литературных чтений в залах Мраморного дворца. Этот последний «закатный» и темнеющий облик Достоевского подлежит такому же изучению, как и другие фазы его идейной и жизненной эволюции. Не для обличения и развенчания великого романиста перед лицом нашей революционной современности необходимо такое рассмотрение последней стадии его идей, а лишь для раскрытия одной из самых глубоких драм его столь богатой мучениями биографии.

В политическом плане, как и в сфере личных переживаний, судьба Достоевского была трагичной. Жестоко пораженный воинствующим самодержавием, еле оставившим ему жизнь и беспощадно отнявшим у него молодость, он отказался от социально-утопического мирозерцания своих ранних лет и под грубым нажимом царизма принял и пережил трагедию поли-

тического отступничества. Это была кара не менее тяжкая, чем мертвый дом, но Достоевский безропотно принял ее, вырвав из своего сердца влечение к тем освободительным учениям, которые по его собственному слову он в молодости страстно принял в сердце свое. И если классические темы утопистов о золотом веке и всеобщем счастье еще звучат подчас в поздних произведениях Достоевского сквозь проповедь победоносцевских тезисов об укреплении самодержавия и сокрушении всяческой революции, — это только тоска апостата по отвергнутому мировоззрению, сообщившему в свое время столько вдохновенных устремлений его раннему творческому полету.

Вот почему в своих самых беспощадных нападках на революцию Достоевский неизменно сохраняет стремление понять и направить по новому пути «заблудившееся» молодое поколение. Его сочувствие правдоисканию и жертвенности современной молодежи, не находящей, по мысли Достоевского, верного пути в своих моральных и умственных скитальчествах, нередко звучит в писаниях его последнего десятилетия и полнее всего раздается в его главном антиреволюционном произведении — в «Бесах». Именно здесь Дон-Кихот российского гегельянства 40-х годов Степан Трофимович Верховенский находит для своего суждения о Нечаеве и нечаевцах проникновенные и очистительные слова, которые сам автор уже от своего имени повторяет в наброске предисловия к своей памфлетической эпопее. Таковы немногие страницы стареющего Достоевского, в которых неугасимый гений великого художника пытается мучительно преодолеть реакционного публициста и идеолога типа де Местра.

Но основное направление пути прочерчено теперь с неумолимой прямолинейностью. Эволюция идей завершилась кристаллизацией исключительной твердости. Несколько смутное брожение теорий и утопий и горячее увлечение социалистическими романами, когда юный Достоевский по-своему, по-художественному, отвлеченно-мечтательно и все же искренне и горячо воспринимал уроки фурьеризма, миновали навсегда. С тех пор Достоевский-художник успел пережить крутой поворот в искании романических форм, а параллельно и двигавшей их идеологии. От Жорж Занд и Фурье, учивших молодого Достоевского вносить в свои страницы вдохновляющий трепет социальной современности и революционных мечтаний, стареющий Достоевский обращается к Стебницкому, Крестовскому, Ключникову. Новые каноны обличительного романа придают подчас двигательную силу и сообщают волнуемую актуальность его последним рома-

ническим композициям. Но вместе с техническими приемами и композиционными завоеваниями они способствуют созданию той мрачной общественной философии, которая отбросила свои густые тени на его последние книги. Великий писатель не преодолел этих отравленных течений современной реакции и, проникнувшись ими, фатально снизил общий план своего творческого дела.

В этом не только личный трагизм его писательской судьбы, но быть может, и одна из глубоких катастроф русской литературы. Стоит на мгновение представить себе, какую могучую эпопею для будущего человечества оставил бы нам мудрец и трагик Достоевский, если бы он продолжал жить социалистическими увлечениями своей молодости, чтоб, понять огромные размеры этого события и весь печальный смысл этой утраты.

Но литературные судьбы сложились иначе. Гениальный романист был сломлен своей эпохой и уже не мог отважно и дерзостно пойти свободным путем Герцена, Гейне или Гюго. Мертвая хватка царизма прервала наметившийся рост вольнолюбивых мечтаний юного Достоевского, жестоко изломала его молодую судьбу, властно приковала к своему жестокому делу и, вероятно, одержала мрачайшую и печальнейшую из своих побед, насильственно отторгнув эту огромную творческую силу у той литературы «грядущего обновленного мира», к которой так жадно прильнул на заре своей деятельности молодой ученик Белинского и Спешнева.

